

23/1-14

Индекс 70544

В ФОНД ПОМОЩИ ЖУРНАЛА «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Выслали в адрес редакции 50 р. Извините, что мало. Дожились мы, что и над нашим любимым журналом нависли грозные тучи. Но ошибаются господа «демократы»: нас, подписчиков, почти 300 000, и если только по 10 р. в месяц посылать, то журнал будет жить. Через журнал я обращаюсь ко всем честным людям: Дорогие соотечественники! Товарищи! Не дадим погибнуть дорогому нам всем журналу! Если демократы и смогут задушить «Молодую гвардию», то и нам, его читателям, несдобровать, так как некому будет за нас заступиться. Сохраним «Молодую гвардию» и будущее своих детей и внуков сохраним!

А.Л.БАРОНЕЦКИЙ и его семья (5 человек), г. Хабаровск

Преклоняюсь перед Вашим мужеством. Всецело с Вами. Понадоблюсь для защиты «МГ» — приеду драться. Шлю Вам помощь — 100 р. Буду посылать по сотне в 2—3 месяца. Держитесь.

МУХИН А. В., г. Донецк-48.

Послала 50 р. в помощь журналу. Продлю подписку за любую цену, т. к. люблю журнал «Молодая гвардия», потому что верить теперь «нашим руководителям» не могу.

ПЕСТОВА И. В., Воронежская обл., Семилукский р-н.

В фонд помощи журнала «Молодая гвардия» поступили переводы:

Аладьев Л. Л.— 25 р., г. Шахты; Алексеев В. Л.— 20 р., г. Якутск; Богословский Н.— 50 р., г. Москва; Болдырева Л. А.— 170 р., г. Москва; Верейкин И. В.— 242 р., г. Ярославль; Виноградова Т. М.— 40 р., г. Харьков-23; Волкова А. Г., Волкова С. Л.— 100 р., г. Воркута; Гайфуллин Г. Х.— 100 р., г. Златоуст; Галсайко И. Н.— 80 р., г. Старый Оскол; Даньяров Ю. С.— 100 р., г. Ашхабад; Захаров Л. А.— 50 р., Московская обл.; Иванова Н. Н.— 100 р., г. Кагалым; Кириченко Г. И.— 50 р., г. Эссенуки-30; Кочнев Д.— 50 р., г. Лузино, Московская обл.; Коврижин В. Н.— 40 р., г. Надым; Коваль А. Д.— 60 р., г. Калуга; Кокин В.— 10 р., г. Брянск; Конохов В. Н.— 100 р., г. Петрозаводск; Кувалдина А. П.— 200 р., Тюменская обл.; Кузнецовы — 50 р., г. С.-Петербург; Макаров Г. М.— 20 р., г. С.-Петербург; Морозов В. И.— 50 р., г. Самара; Павловы — 25 р., Бурятская ССР; Подоняко Д. Ф.— 50 р., г. Москва; Русаков В. М.— 100 р., г. Феодосия; Рожков Б.— 500 р., Мурманская обл., п. Полярные Зори; Савостин В. Н.— 30 р., г. Воронеж; Семиколенова В. И.— 50 р., г. Москва; Смирнов А. М.— 100 р., г. С.-Петербург; Толянчев Н.— 30 р., г. Москва; Цыплакова Н. И.— 50 р., Московская обл.; Юрченко А. П.— 250 р., г. Чита.

Наш расчетный счет: 467449 в Тихвинском отделении Мосбизнесбанка, Москва, МФО 201533 АО «Молодая гвардия», для журнала «Молодая гвардия». **Благодарим наших читателей за лоддержку.**

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ



**Сегодня
журналу
70 лет**

В «МОЛОДУЮ ГВАРДИЮ»

Вот она, фраза из Апокалипсиса: «Я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя!» Нет, мы уже более или менее точно знаем, когда ЭТО нашло на нас. Последней надеждой земного спасения был социализм. Он рухнул. И теперь мы ждем каждое наступающее утро, подобно нераскаившимся изменникам перед Судным днем. И пока еще никто из придворных бульдозеристов, рушивших стены и фундамент, не посыпает голову пеплом и не уходит с покаянием ни в обманутый растерянный народ, ни в полумертвую природу, как уходят и уходили когда-то в монастырь замаливать страшные грехи.

Между тем наша экономика работает на последних оборотах — перед остановкой всех механизмов.

«Ты одной рукой рубишь его, древко знамени, а другой ловишь какое-то для нас еще неведомое древко», — писал Тургенев Герцену в 1862 году (Письма, стр. 237, том 1-й).

Мы срубили древко старого знамени, но держим ли мы новое древко в руках? И что же это за древко? И древко ли это?

И тут я имею в виду божественную надежду в смысле жизни, где главное не знамена над головой, а другое: вера и разумение.

Пожалуй, бесспорно, что англичане понимают разум как здравый смысл, французы — как остроумие, русские — как раздумчивую неторопливость осмысления. Все это не одно и то же, как, скажем, хорошо отрегулированный конвейер производства газетно-политических озлобленных острот в адрес госпожи истории и русского народа, — здесь еще далеко до блеска разумения и роскошества экспромтов.

Лишь неторопливый ум хоть и делает ошибки в муках и сомнениях, но приближает будущее.

Я люблю журнал «Молодая гвардия», самый серьезный журнал из нашей периодики, за совестьливость, отважную позицию, верность убеждениям и неиссякаемую молодость чувств.

В золотую пору вашего юбилея да поможет вам Бог!

Ваш Юрий БОНДАРЁВ



МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

Ежемесячный литературно-художественный
и общественно-политический журнал

Основан в 1922 году

Москва, Акционерное общество
«Молодая гвардия»

В НОМЕРЕ:

«МГ» — 70 ЛЕТ

Анатолий ИВАНОВ, главный редактор журнала
«Молодая гвардия». Праздник горечи и надежды

3

● ПОЭЗИЯ

Евгений ЮШИН. Песнь о России. Стихи
Владимир ЦЫБИН. Армагеддон. Стихи

9

10

● ПРОЗА

Вячеслав ГОРБАЧЕВ. Загадай желание... Современная притча
Юрий СЕРГЕЕВ. Берегиня. Повесть

13

19

● ПОЭЗИЯ

Елена КУЗЬМИНА. Над всем, что пепел и зола. Стихи

100

● ПРОЗА

Юрий БОНДАРЁВ. Мгновения

103

● ПОЭЗИЯ

Виктор СМЕРНОВ. Последнюю лошадь гоню... Стихи

125

● ПРОЗА

Ольга КОЖУХОВА. Рано утром и поздно вечером. (Из дневника) 131

● ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Николай РОДИЧЕВ. По следам цивилизации, летящей в пропасть. Заметки писателя 144

А. ВИНОГРАДОВ. Господа, на ваши взносы жیرهет за граница 168

О. ГУСАРЕВИЧ. Как «опал» девственный социализм? Poleмические заметки 176

Владимир ЗАРУБИН. За последней чертой 182

● XX ВЕК: УРОКИ ИСТОРИИ

Михаил БЕРНШТАМ. Почему победили большевики 192

Валерий ХАТЮШИН. Чья над Россией власть? 197

Герман НАЗАРОВ. Большевики большевикам рознь 211

● ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

Николай КУЗЬМИН. А что же в архивах КГБ? 223

● ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Виктор ЛЕВЧЕНКО. Меч в терновом венке 228

Решлика 251

Федор БИРЮКОВ. Горький против Можаяева 255

Ван ЦЗИСЫ. Благо народа — выпший закон 258

Дмитрий ЖУКОВ. Россия на Голгофе. Окончание 258

События, факты, размышления 285

С. РОСТЕГАЕВ. Волки и овцы, объединяйтесь! Катунская ГЭС — гибель Алтая 285

На первой странице обложки журнала: Композиция Г. Орлова и Л. Воробьевой «Молодой гвардии» — 70 лет.

«Молодая гвардия», 1992, № 5—6, 1—288

НАШ АДРЕС:

125015, Москва, Новодмитровская ул., 5а, телефоны редакции: для справок: — 285-88-58, 285-56-90, отдел прозы — 285-80-15, отдел поэзии — 285-88-40, отдел очерка и публицистики — 285-80-25, отдел критики — 285-80-14, отдел «Товарищ» — 285-89-66.

© «Молодая гвардия», 1992 г.



ПРАЗДНИК ГОРЕЧИ И НАДЕЖДЫ

Сегодня «Молодой гвардии» 70 лет. Но для нас, работников журнала, и для миллионов его читателей это горький праздник. Наша Родина, еще недавно могучая и великая, в том числе и литературными традициями и достижениями всех населяющих ее народов, ныне лежит в страшной разрухе. До катастрофического положения доведены многие периодические издания, среди них и наш журнал. Искусственно вздутыми ценами на бумагу, на полиграфические материалы (в 100 и более раз) правители-«демократы» толкают журнал на край пропасти. Но о себе ли нам беспокоиться, когда народ обобран до нитки, обнищал до предела, когда матери убивают своих детей, в лучшем случае подбрасывают их в детские дома, ибо кормить детей многим уже нечем. Дошло до того, что люди едят кошек, собак, в печати сообщается даже о случаях людоедства. Дожили...

А виновник развала страны, виновник геноцида народов и гражданской войны, полыхающей на обломках Союза, виновник мучительной смерти от голода и пуль детей, стариков, женщин, погубитель наших нравственных ценностей и в конечном счете — могильщик советской власти и социализма, проклинаемый теперь советскими людьми, бывший лжепрезидент и лжегенсек КПСС М. Горбачев, называемый ими не иначе, как величайший преступник всех времен и народов, этот «герой» Нобеля и Буша живет и процветает вместе с другими такими же перестройщиками-преступниками. Они как пили, так и пьют народную кровушку. И заботятся лишь о себе да о благополучии лжепредпринимателей, спекулянтов, преступных мафиозных кланов. Не потому ли, что это позволяет архитекторам перестройки, прикрываясь маской демократии, самым преступными способами фантастически обогащаться?

Таково положение в стране, в которой «Молодая гвардия» остается одним из немногих изданий, осмеливающихся говорить суровую и горькую правду о нашем прошлом, нашем настоящем.

«Молодая гвардия» — старейший в стране «толстый» литературно-художественный ежемесячник. За 70 лет жизни журнала какие только литературные страсти и социально-политические бури не бушевали на его страницах! В яростных схватках тут сшибались акмеисты, имажинисты, рапповцы, вапповцы, лэфовцы, троцкисты, коммунисты... Но журнал всегда был на стороне писателей, художников, политиков прогрессивных. Этим объясняется публикация на его страницах стихов, прозы, публицистики М. Горького, В. Маяковского, С. Есенина, А. Фадеева, Д. Фурманова, А. Новикова-Прибоя,

Дмитрий ЖУКОВ

РОССИЯ НА ГОЛГОФЕ

В знак своей верности союзническому долгу Шульгин даже отказался пользоваться политической свободой, принесенной немцами в захваченный ими Киев, и издавать «Киевлянин».

Шульгинская «Азбука» действовала повсюду. Курьеры ее пробирались в Петроград и Москву и докладывали о голоде, подавлении крестьянских мятежей, уничтожении дворянства, духовенства и части интеллигенции, что Шульгин и считал социализмом. Он сообщал на Дон сведения о немцах. Посылал к Алексееву и Деникину офицеров.

Деникин вспоминал: «Для Шульгина и его единомышленников монархизм был не формой государственного строя, а религией. В порыве увлечения идеей они принимали свою веру за знание, свои желанья за реальные факты, свои настроения за народные. На Юг шли послания, доклады, сводки, в которых яркими красками изображался рост монархического движения в стране».

Немцы разогнали украинскую Центральную раду и поставили во главе «самостийной» Украины гетмана Скоропадского. В Киев хлынули все, кто был против советской власти, — от монархистов до кадетов и эсеров, все, кому удалось бежать от голода и преследований. И среди них — великий русский писатель, академик Иван Алексеевич Бунин с женой Верой Николаевной Муромцевой, племянницей покойного председателя одной из Государственных дум.

В кожаном чемодане с «редкими» замками он привез малую толику своих бумаг, и среди них были дневниковые записи с начала 1918 года, вошедшие потом в книгу «Окаянные дни». Вотличие от Блока он не принял большевистской власти вообще и, обладая умом саркастическим, а наблюдательностью и памятью на подробности необыкновенными, повел свой счет происходившему, давая оценку разным личностям, глубоко отличавшуюся от всего того, к чему нас приучали многие десятилетия.

В дневнике уже были заложены наблюдения, которые отзвучатся убойной, врезавшейся в память прозой «Воспоминаний», его последней книгой. В ней он вспомнит Горького, с которым дружил великодушно, отдавая должное его работоспособности и подмечая бесконечную фальшь в повадках и писаниях, с самого начала, когда тот «уничтожал мужика и воспевал «Челкашей», на которых марксисты в своих революционных надеждах и пла-

нах ставили такую крупную ставку». Или Маяковского, наглостью своею выделявшегося «среди всех тех мошенников, хулиганов, что назывались футуристами», влезшего на пьедестал памятника Скобелеву в Москве в день первой русской войны с немцами, чтобы прореветь патристические вирши и тотчас устроиться так, чтобы на войну не идти. Потом Маяковский стал неизменным слугой большевиков, поддерживал «окаянное богохульство» их вождей, палачей, опричник, предлагал скинуть Пушкина с корабля современности, а заодно и Бунина: «Искусство для пролетариата не игрушка, а оружие. Долой «Буниновщину» и да здравствуют передовые рабочие круги!»

После захвата власти большевиками Горький приехал в Москву и остановился у своей бывшей жены Екатерины Павловны; она позвонила Бунину, сказала, что Алексей Максимович хочет с ним поговорить, но он ответил, что говорить теперь им не о чем. Бунин в «окаянные дни» встречался с Брюсовым, нашедшим теперь маску большевика, с «молодыми» Алексеем Толстым, Маяковским, Эренбургом, Ипбер и всех причекал так, как мог сделать только он один. Он прислушивался к говору толпы, вглядывался в лица. Мрачны они. Уже стреляют людей почем зря, но еще нет тотального сыска, когда язык забит в глотку, и можно услышать проклятья большевикам, обрекшим Россию на голодную жизнь, и упования на немцев. «Раньше чем немцы придут, мы вас всех порежем», — говорит рабочий.

До Бунина доносится отголоски январских увлечений Блока, и он заранее, еще не читая, угадывает, что может сказать Блок, «человек глупый».

В воспоминаниях, в главе «Третий Толстой», Бунин издевался и над «дьявольски поэтичной» манерой Блока выражать свои мысли в прозе: «Едва моя невеста стала моей женой, как лиловые миры первой революции захватили нас и вовлекли в водоворот. Я, первый, так давно хотевший гибелл, вовлекся в серый пурпур серебряной Звезды, в перламутр и аметист метели. За миновавшей метелью открылась железная пустота дня, грозившая новой вьюгой. Теперь опять налетевший шквал — цвета и запаха определить не могу».

Бунин припомнил, что Блок получал 600 рублей жалованья в Чрезвычайной комиссии, что он непристойно издевался в дневниках над допрашиваемыми (перехлест), что будто бы он был личным секретарем Луначарского. А уж «Двенадцать» удостоились отборнейшего ехидства. Блок, мол, выдумал, что сочинял поэму как бы в транссе, «все время слыша какие-то шумы — шумы падения старого мира». Когда в Москву доставили «Двенадцать», московские писатели слушали ее чтение из уст кого-то, сидевшего между Эренбургом и Толстым, и восклицали: «Изумительно! Замечательно!» А Бунин говорил, что бессмысленные зверства длятся уже год, убивают все, кому не лень. Сестра написала ему, что мужики опидали помещичьих павлинов для потехи и пустили их голыми. И сам он в прошлом году был в Орловской губернии, где пьяные мужики хотели бросить его в горевший скотный двор, крича, что это он поджег... Спасло, что матом он крыл не хуже мужиков. А теперь Блок кричит: «Слушайте музыку революции!» Нестерпимо поэтичный поэт, словечка не скажет в простоте. Поэма его — дешевый трюк, набор ча-стухек, лубок с претензией на народность, освящение именем

Христа кровавого разбоя, издевательство над избящей Русью, подержка ленинского «грабь, награбленное», поскольку ставка делается не на крестьянство, а на подонков пролетариата, голь перекатную. Тогда ему закатил скандал Толстой, объявивший себя большевиком до глубины души, а Бунин — ретроградом и контр-революционером.

Заодно в воспоминаниях Бунин припомнил блоковских «Скифов», в которых «после противных любовных воплей Блока «О, Русь моя, жена моя» странно читать, как «весь русский народ, точно в угоду косоглазому Ленину, объявлен азиатом».

В дзевилке Бунин записывает со всех сторон доносящиеся до него вести об озверении народа, о дешевизне человеческой жизни. Уже совести ни у кого нет. Икона — «взял маляр доску, намазал па ней, вот тебе и Бог». Понурены, паши духом интеллигенты, а засевшие в Кремле упиваются властью, сыты. Комиссар юстиции Штейнберг — «старозаветный, набожный еврей. не ест тrefного, свято чтит субботу», а слово «расстрелять» не слодит с языка.

Но еще красива Москва, еще блистает она золотом куполов, еще всюду остатки парабатанного, накопленного. «Неужели всей этой силе, избытку ковец?»

Бунин отбирает и продает книги, чтобы как-то прожить и на отъезд скопить. «Вои из Москвы!» Нельзя жить среди ослабшего многомиллионного народа, ве способного справиться с сотней тысяч большевиков. Кормят своих так — пришел в совет депутатов просить места, дают два ордера на обыск: иди подкормись... Освинели. Алексей Толстой и Брюсов чптают по кабакам похабщину. Буинну предлагают прокормиться тем же. Тихонов, близкий к большевикам, говорит: Ленин и Троцкий решили держать Россию в накалени и не прекращать террора п гражданской войны до момента выступления на сцену европейского пролетариата. Всего боятся как огня, всюду святся заговоры, трепещут за свою власть и жизнь...

В «Воспоминаниях» он уже скажет, что «в мире зоологическом вкогда но бывает такого бессмысленного зверства — зверства ради зверства, — какое бывает в мире человеческом и особенно во время революций». Он уже писал о сладострапии в смертоубийстве, об измывательстве над жертвами, что считается героизмом и вознаграждается: «властью, благами жизни, орденами вроде ордена какого-нибудь Ленина, ордена «Красного Знамени»; нет в мире зоологическом и такого скотского оплевания, осквернения, разрушения прошлого, нет «светлого будущего», нет профессиональных устроителей всеобщего счастья на земле, и не длитс будто бы ради этого счастья сказочное смертоубийство без всякого перерыва целыми десятилетиями при помощи вабралпой и организованной с истинно дьявольским искусством миллионной армии профессиональных убийц, палачей из самых страшных вырожденков, психопатов, садистов. — как та армия, что стала набираться в России с первых дней царствия Ленина, Троцкого, Дзержинского и прославилась уже многими меняющимися кличками: Чека, ГПУ, НКВД...

23 мая Бунин с женой уезжали с Саведовского вокзала. Их провожал Юлий Бунин, брат писателя, и Екатерина Павловна Пешкова. Удалось устроиться в вагон с пленными немцами, которые ехали в Киев, к своим. Ехали кружным путем, четверо суток

только до Минска, на каждой полуразрушенной станции вагон пытались взять приступом, но немцев охраняли с пулеметами. В Минске Бунин с женой сошли, кочевали по вокзалам. Разрешение на выезд достала сестра милосердия, сказавшая, что Бунин — ее любимый поэт. «И Блок», — добавила она, что заставило помрачить Бунина, ревниво относившегося к собратьям по цеху. Из Гомеля плыли по Сожу и Днепру на пароходе и пили пиво, закусывая «удивительно хорошим салом». После гнилых сухарей, оставшихся позади, невольно возникали мысли о загадочной природе социализма, при котором куда-то исчезает все...

В Киеве выходила уйма газет. Не было только «Киевлянина», редактор которого занимался вербовкой агентов для «Азбуки» и офицеров для Добровольческой армии. Пути их с Буниным будут пересекаться не раз, но познакомятся они лет через десять. Переполненный Киев запомнился Буинну купанием в Днепре, на берегах которого ели и пили, не обращая внимания на пропывающие раздувшиеся трупы. Вскоре академик отбыл в Одессу.

Там одним из первых он встретил Алексея Толстого, который, расставив толстые руки, кричал:

— Вы не поверите, до чего я счастлив, что удрал наконец от этих негодяев, засевших в Кремле, вы, надеюсь, отлично понимали, что орал я на вас на этом собрании по поводу идиотских «Двенадцати» и потом все время подличал только потому, что уже давно решил удрать, и притом как можно удобнее и выгоднее...

* * *

...В Добровольческую армию Шульгин выехал 29 июля 1918 года со свитой, в которой были сотрудники «Киевлянина» и старший сын Василий.

Вскоре он послал Васильку в Киев с каким-то поручением. С этого решения и следует начать трагический счет потерь родных и близких Шульгина.

Придет время, и Василий Витальевич напишет книгу «1920».

Обычно предисловия к книгам пишутся по окончании всей работы. Но Шульгин поступит наоборот. Он выведет на листе заглавие «Вместо предисловия» и задумается. Русская революция питалась романтикой французской революции. Романтикой заманчивой и лживой. Была взята Бастилия, символ угнетения и королевского террора, а в ней оказалось менее десятка узников, далеко не заступников народных. Революционные законотворцы казнили слабого короля и привялились прилежно истреблять друг друга, руководствуясь далеко не чистыми побуждениями, оставив истории эффектные фразы. Жесточайшее насилие и коррупция, вседозволенность... до нравственной ли чистоты было творцам революции! И в конце концов 25 лет войны, пять миллионов убитых, чтобы прийти к восстановлению монархии... Впрочем, где-то он читал, что за 14 месяцев первоначального террора в Париже казнили едва больше тысячи человек, да Робеспьер за шесть недель, до 9 термидора, успел прикончить на сотню больше людей, что не идет ни в какое сравнение с недавними событиями в России. А эти события тоже романтизируют. И Шульгин напишет: «Из этой лжи вытечет какая-нибудь новая беда».

Убивали самых умных, обезглавливая нацию (закладывая тра-

диции, добавим мы, тоталитарных диктатур будущего), уничтожая ученых, писателей, артистов. Робеспьер ненавидел их больше всех. Когда гильотинировали гениального химика Лавуазье, была произнесена фраза:

— Революция не нуждается в ученых.

Шульгин и в 70-е годы часто говорил об этом. Ему было жаль жертв революции, но не ее детей, которых она пожирала, подобно Хроносу. Напомним, что Шульгин скончался на пороге 60-летия революции, а правдивой ее истории все не было написано.

Однако придет время, и наша трагедия предстанет перед человечеством во всем объеме «с журавлиной высоты». Так думал Шульгин. Но кто вспомнит, как любили, несправедли и радовались русские люди? Будущие историки ничего не поймут без этого. Каждый из них заключит историю в свою собственную схему, станет толковать ее вкрявь и вкось.

Нелегко даже теперь оставаться беспристрастным. Кто поймет «публичное разделение» автора? И все-таки это надо сделать, записать «кусочки жизни», начать с двадцатого года, а потом пойти вглубь, к временам более отдаленным...

Шульгин не выполнил задуманного. Нет книг «1918», «1919», но в его бумагах есть заметки к книгам, которые могли бы быть написаны...

Шульгин приехал в денкинскую армию в августе, когда в ней было уже более десятка тысяч человек и ею был захвачен Екатеринодар.

Появилась территория, которой надо было управлять. Шульгин разработал «Положение об Особом совещании при Верховном руководителе Добровольческой армии», составил список Совещания, предложив председателем генерала Алексева, а заместителями генералов Деникина, Драгомирова, Лукомского. Это было своеобразное «совещательное» правительство со своими министерствами — отделами. В сентябре Алексеев умер, и Верховным стал Деникин, поручивший своим людям подправить шульгинский проект в либеральную сторону.

Шульгин тотчас же стал издавать газету «Россия», воспевать монархические и националистические принципы, проповедовать чистоту «белой идеи», мечтал об ордене, патриотическом, рыцарском, святом и чистом. Шульгинские статьи использовало для пропаганды денкинское Осведомительное агентство (Осваг). Ему виделся такой орден в основанном им Южно-русском национальном центре, который уже хотел возвращения конституционной монархии (кандидат на престол — великий князь Николай Николаевич), и Думе, состоящей из одних националистов. Думские времена казались едва ли не райскими по сравнению с тем, что творилось на территории, занятой Добровольческой армией, с грызней между деятелями всех оттенков — от Миллюкова до садистов из контрразведки.

Была у него и еще одна тема, связанная с его давней ненавистью к революционному террору.

Он считал еврейской провокацией покушение Каплан на Ленина и убийство Канегиссером Урицкого. Подозрительно быстро был объявлен красный террор (ликвидировались люди, не имевшие никакого отношения ни к Каплан, ни к Канегиссеру, ни к социа-

листам вообще) и создан Реввоенсовет Республики во главе с Львом Троцким-Бронштейном.

Это было в сентябре, а в октябре Шульгин выехал из Екатеринодара в Яссы на совещание представителей Антанты, но не доехал, свалился в «испанку».

А 1 декабря погиб Васплек. Видимо, «по-ихнему», как выразился Бунин в «Окаянных днях», это произошло 13-го. На Киев наступали петлюровцы, и сын Шульгина, подобно героям Булаговской «Белой гвардии», записался в дружину из офицеров, студентов и гимназистов...

Полубольшой член Особого совещания Шульгин оказался в Одессе и назначил ее военным губернатором тридцатилетнего генерала Гришина-Алмазова. Город покинули немцы. В нем схватились друг с другом петлюровцы и добровольцы. Начали свою интервенцию французы, полупризнавшие власть денкинцев. Белый командующий в «Очерках русской смуты» обидчиво писал, что генерал Гришин-Алмазов «правил почти независимо от Особого совещания, находясь под влиянием Шульгина».

Вокруг Шульгина сразу же образовалось плотное кольцо его сторонников — сотрудников «Киевлянина», членов «Азбуки», родных и близких, приехавших из Киева, среди которых были жена, сыновья Ляля и Димка, друг и племянник Филипп Могилевский, носивший прозвище Эфем, один из главных персонажей книги «1920».

В Одессе тогда собрались все, кто мог бежать от большевиков и петлюровцев, — монархисты, октябристы, кадеты, представители левых партий всех оттенков, авантюристы, спекулянты, писатели, актеры... Одесса лихорадочно «жила», торговала, грабила, собиралась на литературные вечера и даже снимала кино. Вера Холодная умерла здесь двадцати семи лет от «испанки». Увивался возле Бунина молодой и цыпичный Валентин Катаев. Еще (уже) были белогвардейцами Волошин и А. Толстой. Красочно, весьма красочно живописали потом Одессу той поры литераторы «южнорусской школы». Особенно бандита Мишку Япончика...

Французы вели переговоры с петлюровской Директорией, что особенно возмущало Шульгина. Французское командование закрыло его газету на восемь дней. В знак протеста Шульгин отказался возобновить издание. Выходила самостийная «Нови шляхы».

Французские войска все прибывали. Уже тут было полторы французских дивизии, две греческие бригады и одна польская. Да и денкинцев тысяч пять, в основном офицеров.

В феврале 1919 года Красная Армия разбила Петлюру, и атаман Григорьев перекинулся на ее сторону, повел наступление на Херсон и Одессу. Французы паниковали, пытались создавать «правительства» из различных партийных группировок. А 20 марта генерал Д'Ансельм объявил, что получен приказ Антанты об эвакуации Одессы. Он хотел разоружить денкинскую бригаду, но она ушла к Днестру, в Бессарабию. А Шульгин со свитой уехал к Деникину.

Что в Одессе было потом, блестяще рассказано Буниным в «Окаянных днях». С 21 марта, когда ему позвонил Катаев и со-

общил, что французы уходят. «Мертвый, пустой порт, мертвый, загаженный город... Наши дети, внуки не будут в состоянии даже представить себе ту Россию, в которой мы когда-то (то есть вчера) жили, которую мы не ценили, не понимали, — всю эту мощь, сложность, богатство, счастье...»

Бунина с Шульгиным познакомит Петр Бернгардович Струве в Париже лишь в 1926 году.

— Бунин очень любит Шульгина, — любезно скажет Иван Алексеевич.

— Эта любовь пагубная. Шульгин сам себя терпеть не может, — не менее любезно откликнется Василий Витальевич.

— Не скромничайте. У вас перо эковомное. В малом — много. Но, знаете, чего у вас слишком много?

— Любопытно?

— Многозначий. Этого не надо.

Не прошло и года, как в «Возрождении» начали печататься «Окаянные дни». А многозначий, когда Бунин пишет о смуте, и у него хватает.

Они сходятся с Шульгиным и в желчной оцевке происходившего, в том, что «одна из самых отличительных черт революции — бешеная жажда игры, лицедейства, позы, балагана. В челоушке просыпается обезьяна». И льется кровь...

Миллионный город в руках красных, «каких-то «гриворьевцев», кривоногих мальчишек во главе с кучкой каторжников и жуликов». Журналисты, вчерашние яростные белогвардейцы, воспевают революцию. Првходит Волошин и рассказывает, какая «кристалльная душа» у его нового друга председателя ЧК Северного (Юзефовича), пишущего триолеты.

Бунин волнуется: жив ли брат Юлий? Он много и ядовито комментирует коммунистическую печать, которой одной предоставлена свобода слова. Выписывает: «Блок слышит Россию и революцию, как ветер...» И восклицает: «О, словоблуды! Реки крови, море слез, а им все впопечем».

И Бунин читает у историка Татищева: «Брат ва брата, сынове против отцев, рабы на господ, друг другу ищут умертвить единого ради корыстолюбия, похоти и власти, вща брат брата достояния лишить, не ведуще, яко премудрый глаголет: ища чужого, о своем в оный день възрыдает...» А Стеньку Разина и Емелька Пугачев! Ленин и Троцкий, верно, изучили основательно эту сторону русского характера. А образованные все протестовали, до революции будничным трудом брезговали, белоручки — «критиковать-то гораздо легче, чем работать». И еще: «Весь огромный город чувствует себя завоеванным, и завоеванным как будто особым народом, который кажется гораздо более страшным, чем, я думаю, казались нашим предкам печенеги». Бунина зовут в Пролеткульт, но он не хочет обучать всякую «хряпу ямба и хореем, дабы она могла воспевать, как ее сотоварищи грабят, бьют, насилуют с кобылами священников! Кстати, об одесской чрезвычайке. Там теперь новая манера пристреливать — над клезетной чашкой». В. Катаев говорит ему: «За 100 тысяч убью кого угодно. Я хочу хорошо есть, хочу иметь хорошую шляпу, отличные ботинки...» Некий Фельдман произносит речь перед крестьянскими депутатами о том, что скоро в целом свете будет власть советов. Голос из толпы: «Сего не буде! Жидив не хвате!» И вместе с тем Бунина ужасает звериный антисемитизм.

Катаев так и не простит ему правды, а Эренбург, который в 1919 году придерживался белогвардейских взглядов, в 1935-м в «Правде» от 14 ноября станет неистовствовать: «Есть воздух, в котором дохнет птицы, вянут цветы. Это воздух зарубежных стран. По-прежнему кликушествует там Бунин, выпустивший квигу «Окаянные дни», полную ненависти к Советской стране...»

Бунин читает страшную речь, произнесенную Троцким в Киеве, о которой мы еще узнаем...

И еще: «Угнетатель рабочих Гришпн-Алмазов застрелился... Троцкий в поездной газете сообщает, что наш миновосец захватил в Азовском море пароход, на котором известный черносотеец и душегуб Гришпн-Алмазов вез Колчаку письмо Деникина». А Деникин уже взял Харьков, каковой вестью Бунин радостно делится с дворником Фомой...

* * *

Шульгин же в это время именно у Деникина. Он на гравии нервного срыва. Генерал Абрам Михайлович Драгомиров зовет его с собой в Париж — вести переговоры с союзниками. Они вместе идут к Верховному. Шульгин вспоминал:

«У Деникина была серебристая, коротко стриженная голова и темная борода. Говорят, это признак породы. Деникин был сын крестьянина, кажется, даже крепостного...»

У Деникина была аристократическая душа. Она была чужда всякой мелкой зыби человеческой и в своих глубоких потоках питалась благородными чувствами. У него не было другой принадлежности «высшего класса», понимаемого в смысле правящей касты: у него не было настоящего «вкуса к власти».

Шульгин видел Деникина в последний раз и почувствовал его страшную усталость. А в Париж не поехал.

Он, как и старший (из оставшихся в живых) семнадцатилетний сын Ляля, пошел рядовым, но этот рядовой поддерживал дружеские отношения с генералом Враггелем в Царицыне. А в августе он уже выехал из Таганрога в Киев, везя написанный им и подписанный Деникиным «Манифест населению Малороссии», в котором Петлюра объявлялся ставленником немцев и провозглашались идеи «единой, неделимой...».

Утром 19 августа из поезда, сквозь мелькающий металл моста, Шульгин снова увидел Киев, из которого вчера выбили красных. Белый фарфор с золотом на бледно-голубом небе — это церкви и монастыри. Зеленые горы и густо-синий Днепр.

Он сошел с поезда. И увидел, что творилось...

«Печать смерти. Все то же, что мы уже видели везде, где прошел «ковь Ленина». Мертвые дома, заколоченные лавки, ободраные деревья, испорченные мостовые, знойная унылая пыль, «мерзость запустенья» и люди как тени.

Словно все пережили тяжелую болезнь. Худые, черные!..»

Он еще верил, что «золотопогонное золото» даст новую жизнь городу.

Маленький особнячок Шульгиных на углу Караваевской и Кузнечной был цел. Все живы в нем. И сестра Лина. Прибежала и сказала, что почти вся «Азбука» жива, несмотря на расстрелы...

В дом сходились уцелевшие и рассказывали о последних, самых страшных днях. Во второй половине июля приезжал Троц-

кий. Сестра говорила, как ей захотелось увидеть этого человека и она достала пропуск в Народный дом.

В передаче Шульгина ее рассказ звучит так:

«Грозно заворчал подъехавший автомобиль, и через минуту в сопровождении свиты поднялся по ступенькам сутулящийся еврей...

Тип портиго из маленького городка в черте оседлости. Невольно рисовался аршин под мышкой и кусок засаленного сантиметра, свесившегося из кармана. Да неужели это он толкнул братьев на кровавый бой с братьями, от лица России заключил позорный Брестский мир и перед ним склоняются — пусть «красные», но все же русские знамена?!

Громко и отчетливо заговорил он о вреде партизанщины, о необходимости создать регулярную армию, о Деникине — прискучившие фразы, примелькавшиеся уже в столбцах красных газет... Я уже собралась уйти, как неожиданно новые интонации металлически зазвучали в его голосе и остановили меня. Троцкий заговорил о тыле, о необходимости борьбы с теми, кто «против нас». С каждой фразой крещал голос и дошел до крика, временами хрипло-гортанного. Бешено жестикулировали угрожающие руки, как чудовищные птицы, заметались по залу призывы неаивисти, и билась они в закрытые окна, за которыми в розовых лучах кротко умирал день. Незузнаваемо изменилось лицо: хищно выдвинулась нижняя челюсть, горевшие глаза как-то вышли из орбит, точно повисли в воздухе. Не портной из маленького городка черты оседлости — перед толпой стоял фанатик-изувер, носитель веками накопившейся мести и ненависти, призванный осуществить двухтысячелетнюю мечту...

— Чиновники, лакеи старого режима, судейские, издевавшиеся в судах, педагоги, развращавшие в своих школах, политики и их сынки-студенты, офицеры, крестьяне-кулаки и сочувствующие рабочие — все должны быть зажаты в кровавую рукавицу, все пригнуты к земле. Кого можно — уничтожить, а остальных прижать так, чтобы они мечтали о смерти, чтобы жизнь была хуже смерти...

Не речь — это были дикие конвульсии ненависти, и если бы он упал сейчас мертвым, я бы не удивилась».

В этом рассказе, воссозданном пыльным воображением Шульгина, все преувеличено, все доведено до крайности ответной ненавистью, кроме... слов Троцкого. И он запомнит их навсегда. И будет повторять. Не забудет их и Бунин.

Лина рассказывала, что сидевшие впереди евреи аплодировали, а русские молчали. И будто бы пожилой рабочий сказал:

— Царь иудейский!

И пошел вон из зала.

ЧК расстреляла бывших членов царского суда. Шульгин вспомнил «дело Бейлса». Он тоже был против суда. Он тогда писал, что нельзя в русско-еврейской борьбе перенимать еврейские приемы. Когда-то евреи обвинили первохристиан в том, что они пьют человеческую кровь и едят человеческое мясо. И доносили об этом римлянам. Речь шла о причастии — о хлебе и вине — «о теле Христовом и крови». Теперь христиане обвиняли евреев. Суд оправдал Бейлса за недостатком улики. Одинадцать из двенадцати присяжных сказали: «Но этот еврей невиновен».

И все же Троцкий велел убить судей...

А дом Шульгина уцелел, потому что евреям показалось, что он вступился за еврея. Он же хотел, чтобы русский суд был беспристрастен.

Когда-то Шульгин создал в Киеве «Клуб русских националистов», в 1917 году превратившийся в «Блок русских избирателей», основную его политическую опору. Шульгин узнал, что ЧК раздобыла печатный список членов клуба 1911 года и расстреляла всех, кто еще не умер и не бежал. Пожилых профессоров и купцов. Он считал это намеченным уничтожением русской интеллигенции евреями, потому что в ЧК их было 75 процентов.

Никогда в жизни он не будет больше составлять списков.

Председатель Особого совещания, друг Шульгина, генерал А. М. Драгомиров был назначен главноначальствующим Киевской областью. И уже 21 августа 1919 года Шульгин возобновил издание «Киевлянина», печатавшего спинодик расстрелянных киевской ЧК, которую возглавлял Блувштейн (он же Сорин, участвовавший в расстреле царской семьи, что создавало ему особый «революционный ореол»).

Но Киев все равно был в кольце. С одной стороны засели большевики, с другой — петлюровцы. В город не пропускали крестьян с продовольствием.

Однако постепенно «Деникия» расширялась, и установились рыночные отношения, открылась масса магазинов, лавок, ресторанов... Урожай в тот год был сильный, и его собирали уже без продовольственной диктатуры большевиков.

Офицеры в Киеве жили впроголодь, в то время как уже горели огни театров, ресторанов, кинематографов. И честных офицеров становилось все меньше, а грабителей все больше.

Все чаще ходили слухи, что еврей напрямую связан с большевиками, что они стреляют из окон. Вернувшиеся и потерявшие родных офицеры стали убивать в Киеве евреев. Все было пропитано ненавистью.

Командование Добровольческой армии запретило погромную агитацию. Но у генерала Драгомирова не было в запасе верного конвоя, который бы беспрекословно выполнял приказания и не подвергался постороннему психическому влиянию.

«Вот почему владыки всех времен, — писал Шульгин, — любили окружать себя дружинами из иностранных телохранителей. Как известно, этому же рецепту последовали большевики, взявшие на службу латышей и китайцев».

«Киевлянин» сразу выступил против самосуда толпы из офицеров и местных жителей, которые собирались у зданий чрезвычайки (Елисаветинская, дом № 3; Институтская, дом № 40) и смотрели на цементные полы с желобами для стока человеческой крови, на изделия из содранной с живых людей кожи. Находили обезображенные трупы родных.

В архиве Шульгина сохранились многочисленные показания жертв красного террора. Здесь есть записки его второй жены Марии Дмитриевны, у которой арестовали и убили отца. Допрашивали его Петерс, Лацис и некая Роза...

Всеукраинская ЧК находилась в доме Бродского на Левашовской улице. Председатель ее Лацис, как свидетельствовали уцелевшие, допрашивал арестованных в кабинете с портретами Кар-

ла Маркса и Льва Троцкого. На столе обычно стояли бутылки с шампанским и банка с кокаином, рядом лежала лопаточка слоновой кости для нюхания. Говорят, что тем же наркотиком подерживал свои силы и Дзержинский, отчего и умер.

Арестованных держали в мокром подвале с крысами и в гараже. Их было так много, что они стояли, стиснутые друг другом. На допросах из-за спины Лациса сторожевыми псами смотрели два громадных китайца с маузерами в деревянных кобурах. Лацис вертел в руках карандаш, красный с одного конца, с другого — синий. Красным он писал: «В расход». Бил стеклом по лицу священников, выбивал рукояткой нагана зубы актерам, писателям... Если пытаемый кричал: «Ироды! Кровопийцы! Разбойники! Креста на вас нет! Жидовские морды!», ему разбивали голову молотом. Приговоры приводили в исполнение Боровик, Японец, Соловьев, Харитонов, Иванов, Вальцман и две женщины-сидистки — Роза и Зина, обвешанные бриллиантами.

В Лавре расстреляли митрополита Владимира.

Еврейская печать — «Киевская жизнь», «Киевское эхо» — отрицала связь евреев с большевиками.

Начали мстительный «тихий» погром разложившиеся офицеры.

Ночью насильники входили в еврейские квартиры, издевались... А евреи применяли против этого свой прием. Они начинали кричать, кричали всей улицей...

7 октября Шульгин сидел в тиши своего кабинета и услышал страшный вопль. Тогда он и написал статью «Пытка страхом», напечатанную на другой день в «Киевлянине». Вспомнил Пихно, предупреждавшего, что революция пройдет по еврейским трупам. Русские не кричали, когда родных уводили в ЧК на пытки и расстрел. И все же Шульгин назвал еврейские погромы «средневековой жутью». Он призывал власти бороться с насилием, а евреев — покаяться в своей роковой поддержке большевиков и создавать не «Лиги по борьбе с антисемитизмом», а «Еврейскую лигу по борьбе с социализмом».

Статью перепечатали во многих газетах и в России, и за границей.

Потом один эмигрант сказал:

— Эта статья является лучшей услугой, которую можно было сослужить большевикам.

Появился ответ Ильи Эренбурга в «Киевской жизни»:

«О ЧЕМ ДУМАЕТ ЖИД

В. В. Шульгин рассказывает, о чем думает он в эти жуткие темные ночи, когда доносится до него вой и плач «пытаемых страхом жидов». Я тоже слышал эти стоны и слезы и потому не могу ни оспорить, ни доказывать азбучной истины. В. В. Шульгин интересуется, о чем думают в эти ночи евреи и чему учат их треск винтовок и грохот разбиваемых дверей. Надо ли еще раз говорить о том, что евреи, как и все люди, друг на друга не похожи и думают они по-разному. Верно, еврей-большевики радуются происходящему, ибо видят в этом поношение враждебной им идеи. Под замирающий грохот орудий они все же продолжа-

ют мечтать о своем «третьем интернационале». А сионистам греются не менее отдаленные песни белой приснившейся Палестины. Есть и такие, что не помышляют ни о Сионе, ни об интернационале, а только о шапке-невидимке, которая спасла бы их от шального взгляда разгневанного прохожего. Я хочу рассказать о том, что пережил и передумал я в эти дни и вместе со мною все евреи, для которых Россия — родина, которые не уедут ни в Циммервальд, ни в Яффу, ибо дано человеку любить равной любовью родную землю и в годы тучных нив, и в годы голода и смерти.

В прошлый четверг пошел я из Дарницы в Киев, шел, радуясь русской победе и залитому солнцем крутогорбому Киеву.

(Цензурой выброшено 12 строк) *.

Я пережил великую пытку. В. В. Шульгин, пытку страхом за беззащитных и обреченных. Никогда на фронте не испытывал я подобного, ибо там, рядом со мною, в окопах, были взрослые мужчины, а не грудные младенцы... Я не протестую, не уговариваю. Просто и искренне говорю — думаю я в эти ночи о России.

Кто любит мать свою за то, что она умна и богата, добра и образованна! Любят не «за то», а «несмотря на то», любят потому, что она мать. Помню, как спорил и с Бальмонтом, когда написал он в 1917 году прекрасное стихотворение «В это лето я Россию разлюбил». Я говорил ему о том, что можно молиться и плакать, но разлюбить нельзя. Нельзя отречься от озверевшего народа, который убивает офицеров, грабит усадьбы и предаст свою отчизну. В годы большевизма мне часто приходилось слышать такие понятные и вместе с тем невозможные суждения: «Ах, Россия, дикая, отвратительная страна... Хоть бы прислали сюда негров, что ли. Если бы перейти хоть в бразильское подданство...»

Я видел тысячи Петров, отрекшихся от своей родины. Я познал, что многие любили Россию, как уютную квартиру, и проклиная ее, как тощую громчлы выкинули из нее мягкие кресла. Может быть, и все муки привяла наша земля оттого, что любили ее не жертвенно, во благодарственно за сдобные булочки и хорошие места. Я благословляю Россию, порой жестокою и темною, нищую и неприютную. Благословляю не кормящие груди и плетку в руке. Ибо люблю ее и верю в ее грядущее восхождение, в ее высокую миссию...

Есть оскорбления труднозабываемые, и мне тягостно вспоминать рыжий сапог, бивший меня по лицу. В первый раз это был сапог городского, изловившего меня «за революцию», во второй раз красноармеец избил меня «за контрреволюцию». Это был сапог того, кто мнитя мне Мессией. Я не потерял веры, я не разлюбил. Я только понял, что любовь тяжела и мучительна, что надо научиться любить.

В эти ночи я, затравленный «жид», пережил все то, о чем говорит В. Шульгин. Только «пытка страхом» была шире и страшнее, чем он думает. Не только страх за тех, кого громил, но и за тех, кто громил. Не только за часть — за евреев, но за целое — за Россию. Я верю и знаю, она воскреснет, она просыпается. Этот маленький трехцветный флажок перед моими окнами говорит о том, что вновь откроется для жаждущих источник русской

* Так в газете.

культуры, питавший все племена нашей родины. Ведь не нагайкой же держалась Россия от Риги до Карса, от Кипинаева до Иркутска. Из этого ключа пили и евреи, без него томилась от смертной жажды. В эти ночи я радовался взятию Киева и Орла, и я томился страхом, ибо там, где есть столько ненависти и мести, еще нет полного исцеления. Меня пытали страхом не только за еврейских детей, но и за великорусское дело.

«Научилась ли еврей чему-нибудь за эти ночи?» — спрашивает В. Шульгин. Да, еще сильнее, еще мучительнее научился я любить Россию. О, какая это трудная и прекрасная наука. Любить, любить во что бы то ни стало. И теперь и хочу обратиться к тем евреям, у которых, как и у меня, нет другой родины, кроме России, которые все хорошее и плохое получили от нее, с призывом пронести сквозь эти ночи светильники любви. Чем труднее любовь, тем выше она, и чем сильнее будем все мы любить нашу Россию, тем скорее, омытое кровью и слезами, блеснет под рубищем ее святое, любовь источающее сердце.

И. Эренбург».

Если в этой своей статье Эренбург искренен, от русских спасибо ему! Но мы помним, что сперва он был красным, потом белым, потом опять красным. И писал уже другое:

Мы часто плачем, слишком часто стонем,
Но наш народ, огонь прошедший, чист.
Недаром слово жид всегда синоним
С великим, гордым словом Коммунист.

Что это — риторика? Меня всегда удивляло влияние Эренбурга в мировом масштабе, его свободное пересечение всех и всяческих границ во времена, весьма тому не способствовавшие. И великое почтение к нему Сталина, не почитавшего никого, кроме Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина.

Шульгин ответил сухим заявлением в «Киевляниве»:

«К чести киевской администрации следует отметить, что, лишь только начались антисемитские эксцессы, она немедленно приняла меры к предупреждению погрома и к охране жизни и имущества населения».

Драгомиров все-таки расстреливал погромщиков. По настоянию Шульгина. Ибо насилие развращало, губило «белое дело».

«Красные были неизмеримо жесточе, чем Белые...»

Но...

Но жестокость Красных была проявлением Власти, тогда как жестокость Белых была следствием Безвластия.

«И это было грустно... для нас...»

2 ноября Добровольческая армия отпраздновала свое двухлетие.

По этому поводу написано было много статей.

Уже взят Орел. Впереди «цветной корпус», полки Корниловский, Марковский, Дроздовский. Алексеевцы одеты не в союзническое хаки, а каждый на свой лад.

Марковцы считались *гомяги*. «Гомяги» — во всем черном и с белыми погонами. В бою не ложились. Шли во весь рост, и это устрашало.

За Орлом они наткнулись на специальные, хорошо дисциплинированные и подготовленные бывшими офицерами красные полки и отошли. Отягощали громадные обозы.

Интеллигентский запас кончился, и начался всееленский драп.

Вскоре от вооруженных сил Юга России останется лишь Добровольческий корпус Кутепова в десять тысяч птыков и сабель. Врангель, высланный Деникиным, будет попивать турецкий кофе в Константинополе. Но и сам Деникин с бывшим начальником штаба генералом Романовским тайком покинул Феодосию, не случайно боясь своих же офицеров-монархистов, ибо Романовского все равно убьет один из них в русском консульстве в Константинополе. А Деникин проследует дальше, в Лондон, в своем непромокаемом плаще и дорожном кепи... Тайком-то тайком, но багаж с ним был основательный, и там — богатейший архив, включавший все письма Шульгина, что позволило основательному генералу тотчас засесть за многотомные «Очерки русской смуты»... Особое совещание было упрямлено 16 декабря 1919 года.

Недооценивал Шульгин противника!

Да и «Азбука» распозалась. Шульгин вспомнил из Иловайского: «Словяне были склонны к раздорам между собою».

Люди из «Азбуки» имели агентуру всюду. Даже в ЧК у красных служила в канцелярии «азбучница» двадцати лет.

У «Азбуки» с белой контрразведкой были контры. Шульгин недогадал на излпшнюю жестокость контрразведки, на взяточничество. Дал, например, убежать чекистской садистке Розе — та откупилась награбленным.

Самого Шульгина чуть не помела контрразведка, желая поглубже сунуть нос в дела «Азбуки». Взяли «Юс». Тогда «Ведь» послал ему на выручку «Фиту», генштабиста, который устроил в гостинице «Эрмитаж», где была контрразведка, тарарам.

8 ноября Шульгин отправил из Киева два вагона с родными, друзьями, наиболее ценными архивами, прицепив вагоны к поезду адмирала Кононова. Поезд достиг Одессы только на одиннадцатые сутки. В пути жену Екатерину Григорьевну и брата Павла Дмитриевича свалил тиф. Павел, подававший большие надежды скрипач, скончался в Раздельной, а Екатерину Григорьевну положили в Одессе в больницу. Младший сын, Димка, остался один на улице...

Вскоре в Киеве началась паника, люди уходили по попутной железной дороге. Напрасно зывал Шульгин к киевлянам: «Когда большевикам надо защищать их «красный Петроград», они быстро собрали несколько тысяч коммунистов. Ныне Киев — мать городов русских — в опасности. Докажите, что в вашей груди бьется мужественное сердце, что вы умеете защищать свои семьи, свое достоинство и не хотите быть рабами Троцкого...»

С 29 ноября обороной командовал генерал барон Штакельберг. Было условлено, что один из его штабных офицеров — член «Азбуки» — позвонит и скажет:

— Пора одеваться.

Вот тогда и надо уходить.

В последний вечер, 3 декабря, Шульгин сидел со своим помощником по «Киевлянину» Владимиром Германовичем Иозефи и несколькими офицерами-«азбучниками». Считали деньги. Тираж «Киевлянина» в последние дни доходил до 70 тысяч. Такого не

было някогда. Каждый экземпляр газеты стоил четыре рубля. Проверjali оружие.

Шульгин надел две пары белья, собрал самое необходимое. И под утро раздался звонок:

— Пора одеваться.

На вокзал он пошел с Лялей и десятком офицеров. Там было столпотворение. Дальше шульгинцы двинулись по шпалам, и только к ночи их пустили в какой-то вагон. Чуть ли не персидского консула. Вагон был битком набит ранеными и тифозными.

На станции Мотовиловка Шульгин со своими присоединился к Якутскому полку и совершили с ним громадные переходы по морозу. Большевики были, как выразился Василий Витальевич, настроены «весьма энтузиастически», трепали полк. У белых этот «невольный, но общий энтузиазм вызывал галлюцинации наяву о горячей ванне, свежей газете, кофе с булочками и Верочке Холодной».

Это переключается с горькими мыслями о белых, которыми Шульгин делился уже в книге «1920». В Якутском полку к нему и его спутникам относились едва ли не враждебно и за глаза насмешливо называли «джентльменами». Тем более что у них были деньги — торбы, набитые «керенками», заработанными на выпуске «Киевлянина». Но они шли по этому морозу триста верст, а офицеры полка — тысячи. Некоторые воевали непрерывно с 1914 года.

«Поход, бой, вши... Бой, вши, поход... Вши, поход, бой...»

«Мы ненавидели всех. Мы ненавидели крестьянина за то, что у него теплая хата, сытный, хоть и простой, стол, кусок земли и семья его тут же, около него в хате...»

— Ишь, сволочь, бандиты — как живут!

Мы ненавидели горожан за то, что они пьют кофе, читают газеты, ходят в кинематограф, веселятся...

— Буржуи проклятые! За нашими спинами кофе жрут!»

Последнее лично к Шульгину не относилось, но объясняло поведение многих.

Еще в октябре 1918 года генерал Драгомиров говорил ему: «Мне иногда кажется, что нужно расстрелять половину армии, чтобы спасти остальную...»

Ход рассуждений Шульгина таков: положим, красные — грабители, насильники, убийцы, отвергшие мораль и заповеди Господни, презирающие русский народ, озверелые горожане, грабящие деревню...

Значит, белые — рыцари, не грабят, строги, но не жестоки, имеют Бога в сердце, порядочны, честны, добры к крестьянам...

А что на деле?

Юнкер из «хорошей семьи» не стесняется говорить, что новенький полубубок он получил — от благодарного населения». Ограбил мужика, а все гвардейские офицеры и барышни, воспитывавшиеся в Смольном, одобрительно смеются. Чем это отличается от «грабь награбленное»?

Шульгин не аристократ, но он любит все высокое, красивое и сильное русское. Аристократию и демократию, когда они талантливы и прекрасны. И не терпит их, когда они узкоклассовы и жестоки.

Он любит родину со всем, что в ней есть. «Ибо все нужны. Как нужны корни, ствол, листья... и цветы...»

Граби, белые губят «белое дело».

Дальше — хуже.

Шульгин уже сделал вывод: «Белое дело» погибло.

Начатое «почти святыми», оно попало в руки «почти бандитов».

Ему хотелось объединить тех, кто сохранил честь.

Шульгин думал, что у Казатина фронт остановится, но под Фастовом полку был дан приказ отступить дальше. Вечером Шульгин высказал своим молодым друзьям «крымскую теорию» — о том, чтобы отсидеться в Крыму подобно ханам, пребывавшим там столетия.

Только на пятисотой версте отступления им с Лялей удалось сесть на паровоз и в конце декабря прибыть в Одессу.

— Круг замкнулся, — сказал Шульгин.

Одесса бурлила. Офицеры бродили толпами. Их заставляли регистрироваться.

«Опять списки, — думал Шульгин. — Для облегчения работы большевиков, когда займут город, по отысканию офицеров? Ангел смерти реет над Одессой-мамой...»

Дисциплина упала. Офицеры убили начальника контрразведки полковника Кирпичникова. Шульгин знал виновников, но не выдал, хотя в свое время в Думе протестовал против эсеровского самосуда.

В кафе Робина за чашкой кофе сплетничали о вражде штабов. «Азбучники» докладывали «Веди» о том, что высшее начальство уже отправило семью в Болгарию, что процветает взяточничество.

Одесса, Новороссийск, Крым — вот три кусочка русской земли, где еще можно зацепиться белому движению.

Самые разные люди формируют отряды. Даже митрополит Платон. Шульгин бывал у него, поскольку верил: государства валятся, троны рвутся, а церковь устоит. Следовательно, устоит и русский язык. А там возродится двуглавый орел, одной головой устремленный в великое прошлое, а другой станет искать путей «к Великому (верю, Господи, помоги моему неверью) Будущему...»

Шульгин создал и свой «отряд особого назначения» и, будучи поручиком, командовал полковниками. Красные близко, и Шульгин уже подписывал разрешения занимать места на английских и французских пароходах.

25 января власть перешла к петлюровскому генералу Сокиро-Яхонтову. А Бушпи, все еще живший в Одессе, провожал знакомых, которые уплывали за границу. Однако сам колебался, покидать ли родину. У него была уже сербская виза, но он не ехал ни в Сербию, ни в Константинополь, хотя оттуда можно было перебраться в Париж, делился сомнениями с Верой Николаевной, боясь холодной и голодной жизни, высокомерного отношения аборигенов к русским. Наконец решился, говорил жена о своих дворянских предках, служивших России с XV столетия. Да и сам он: «Служил ей честно и правдиво, сколько Бог разуму отпустил — все отдавал нашему народу. Так за что же меня

так! Провались в тартарары все эти Троцкие и Зиновьевы, растоптавшие мою землю!»

6 февраля Бунин оказался на борту французского парохода «Спарта» в крохотной каюте, которую делил с женой, академиком Н. Н. Кондаковым и его секретаршей. Пароход мотало на рейде против порта, когда в улицы Одессы ворвались конники бригады Котовского. Еще два дня «Спарта» выжидала благоприятной погоды, не дождалась и взяла курс на Константинополь, через бурное Черное море. Пароход был набит так, что в уборную приходилось добираться буквально по телам. «Вперед темнота и жуть. Позади — ужас и безнадежность...» — записала в дневник Вера Николаевна.

* * *

Дальнейшие приключения В. В. Шульгина и его семьи подробно описаны в его знаменитой книге «1920». И как шли они по льду Днестра, обстреливаемые с одного берега красными, а с другого — румынами, отхватившими под шумок гражданской войны Бессарабию. И как скрывались в подполье, в Одессе. Как переболели всеми видами тифа. Как попадали в Чека и гибли там родственники Шульгина. Сам он ушел в Крым, к Врангелю...

В этом очерке нет места для расшифровки некоторых событий в книге «1920», многих имен, обозначенных лишь буквами, потому что книга писалась по горячим следам и Шульгину не хотелось подставлять под удар Чека людей, еще сохранивших жизнь и относительную свободу. Но о том, как вародилась книга, все же расскажу.

Шульгин решил выручить своего племянника Филиппа Могилевского, схваченного одесской Чека. В книге он назван Эфемом. Шульгин с друзьями-офицерами на двух шаландах отплыли из Крыма в Одессу, но буря помешала выполнить задуманное и выбросила суденышко на румынский берег.

Румыны задержали Шульгина, приняв его за чекиста. Целых два месяца он доказывал, что это не так. А тем временем гражданская война в России шла к своему финалу.

С 31 октября по 3 ноября 1920 года большая часть врангелевской армии и не меньшее число штатских лиц — всего 136 тысяч человек — погрузились на 126 морских судов, от крейсера «Корнилов» до яхт, и отплыли из Крыма в Константинополь, где стали на рейде под дулами орудий английских древоутов. На французском крейсере «Вальдек Руссо» собирается совещание французского командования, на которое приглашают Врангеля. Решено: Первый корпус (25 тысяч человек) под началом генерала Кутепова отправить на полуостров Галлиполи, кубанских казаков (15 тысяч человек) — на остров Лемнос, донцов (15 тысяч человек) — в Четалджи, штатским (среди которых 20 тысяч женщин и 7 тысяч детей) разрешить высадиться в Константинополе.

Но еще десять дней все они пребывали на пароходах и не получали горячей пищи. Еще неделя — и всем хватило бы места на стамбульском Скутарийском кладбище. Осень оказалась неожиданно холодной. Пароход «Рион» шел по морю семь дней. На борту его было шесть тысяч человек и военный груз. На буксире он тащил потерявший ход миноносец. Пассажиры спдели

друг на друга, мерзли. Все старались добыть кипятку и согреть озябшие руки и ноги. Цела, смеялась и смотрела широко раскрытыми глазами молодая миловидная женщина. Мужа ее расстреляли в ЧК, она там же сошла с ума, и ее отпустили, потому что на руках ее был младенец, но он тоже умер...

Шульгин в это время ехал тоже в Константинополь через Болгарию, где его старый знакомый П. Б. Струве подал ему идею написать книгу «1920». Недавно в Пражском архиве я нашел такие строки Шульгина:

«В начале декабря (ст. ст.) 1920 года, проездом через Софию, я зашел в «Русско-болгарское книгоиздательство», где мне предложили написать книжку о еще свежих тогда событиях. Я согласился, но вслед за этим выехал в Константинополь, не приступая к работе. В Константинополе я пробыл ровно столько времени, сколько понадобилось, чтобы получить разрешение отправиться в Галлиполи. В Галлиполи я прибыл 24 декабря 1920 года.

Во время моего пребывания в Галлиполи ротмистр Чихачев, которого я давно знал, просил меня написать что-нибудь для рукописного журнала, издававшегося в лагере. Я очень задумался, что бы написать, и задумался настолько, что ушел в горы, благо было довольно тепло. И вот, усевшись на камень и имея перед глазами палаточный галлиполийский лагерь, я написал нечто, чему дал заглавие «Белые мысли». Эта вещь появилась сначала в рукописном журнале «Развей горе в Голом поле», а затем в первой книжке возродившейся «Русской мысли».

Что же увидел, узнал, почувствовал Шульгин за время своего короткого пребывания в Турции?

Когда Шульгин приехал в Константинополь, громадный город на Босфоре уже вобрал в себя русских. На Пере, которую окрестили Перской улицей, торговали бездельниками пожилые люди при всех орденах. Русские девушки торговали своим телом в Галате, где кутили английские матросы. Французы забрали привезенные хозяйственные грузы и продовольствие, но прозились не кормить, если не будет полного подчинения. Чернокожие солдаты разгоняли палками недовольных. Итальянцы захватили все серебро, которое вывез ростовский банк. Султан был пленником иностранцев. Кемаль-паша не признавал султана в своей Анкаре, куда бежали некоторые русские офицеры, завербовавшиеся в иностранные легионы. Турки относились к русским плохо. Можно было видеть, как пожилой мусульманин подходил к озябшему пловцу, совал ему в руку пять лир и быстро отходил, чтобы не вернуть деньги. Потом и турок стали подстрекать против «гяуров».

Основная масса военных сосредоточилась на Галлиполи, сдерживаемая военно-полевыми судами твердокаменного Кутепова. Уцелевшие корниловцы, алексеевцы, марковцы были люди отпетые. Когда французы предложат расформировать корпус и прекратят выдачу продовольствия, многие из них решат пробиваться на север и даже захватить Константинополь. Но пока они устранились, как могли, на Голом поле — Галлиполи. Сам Врангель со своим штабом располагался на яхте «Лукулл», стоявшей на якоре против Константинополя.

В главе «Константинополь (Из дневника 18/31 декабря)» книги «1920» Шульгин пишет, как он стоит вечером на мосту через Золотой Рог, который напоминает ему Николаевский мост через

Неву в Петрограде. наблюдает струящуюся толпу людей и «сим-фонию огней», размышляет об извечной борьбе между Россией и Турцией, оказавшимися в одинаково разоренном положении. Белые хранили верность Антанте. А здесь воочию убедились в презрительном отношении «держав-победительниц» и к русским, и к туркам. Горе побежденным! Горе слабым!

Сохранились наброски Шульгина к книге «1921». В них он подробно говорил о тех, кто, оказавшись за рубежом, ходил по улицам, искал пропавших жён, мужей, детей, друзей, однополчан, искал, у кого бы занять денег, искал пропитания, пристанища...

Бунин с женой, например, оказавшись в Константинополе ещё в феврале 1920 года, чувствовали себя «в некотором роде тоже опцлавными павлинами». Они поторопились уехать в Софию от презрительной власти союзников, хотя и душевно отдыхали от пережитого за три года. Там их обокрали. В Белграде они жили в вагоне, стоявшем на запасных путях, пока доброхоты не помогли добраться до Парижа.

Шульгин отмечал, что за границей мужские русские лица — «расхлябанные». У западных европейцев мускулы лица подтянуты от постоянного напряжения воли. Ныне, после нескольких лет перестройки, по той же причине иностранца сразу отличишь в толпе русских и здесь.

Шульгин жил в холодных мансардах, поднимаясь туда по трясуцимся винтовом лестницам. Спал в кухне на полу у самой плиты, просыпаясь, когда хозяйка проходила к единственному крану. Брил голову наголо из гигиенических соображений. Не мог себе позволить пообедать в кафе для офицеров-таксистов. Покупал стакан чаю и кусок хлеба за пять пиастров у мрачного полковника и читал в русской газете фельетон Аверченко и статью Куприна, называвшего русских рабами Ленина. «Играли с революцией и доигрались... Сто лет проповедовали «свободу, равенство в братство» и не заметили, кто носит этот плакат по миру на высоких щитах, высотой с Эйфелеву башню. А если бы обратили внимание, то увидели бы, что под плакатом ходит Некто в черно-красном и что у него — хвост и козлиные копыта. И что этими копытами ходит он по гуще — месиву из грязи, крови и золота... Кто соблазнится, кто побежит за плакатами по месиву, тот в этой гуще из грязи, крови и золота увязнет... Вот Россия и увязла...»

И сам писал:

«Господи, неужели все было даром?..

— Я загубил двоих, Н. Н. — троих сыновей.

И все мы так... и валяемся по чердакам, с окровавленным сердцем...

Ужели все даром и Россию так и ве вырвать у Смерти?..

Ведь мы знали. Мы потому и боролись, что знали... Мы знали: Ее ведут на заклание... На заклание ужасному Богу, который страшней Молоха...

Мы знали, что он убьет Ее, потому что социализм не может не убить, — ибо он — Смерть. Красная смерть XX века, ужасная

психическая болезнь, моровое поветрие, посланное, должно быть, за грехи наши...

Мы знали, что он задушит Ее... Задушит голодом. Мы спешили на помощь, мы рвались в эту Москву, мы устлали путь своими телами, ибо знали, что время не ждет, что двенадцать часов бьет...

Мы не смогли... Ах, мы были слишком грешны, должно быть, чтобы выполнить слишком святую задачу...

Или, быть может, те люди, которых мы хотели спасти, они — слишком грешны...

Но послужит ли этот страшный пример — другим?.. Всем народам, столпившимся на берегах Босфора?..

Спешите, франко-американо-германо-бритты!.. Спешите, создатели мира!.. Спешите, — смерть около вас!

Издравле были народы без территории. Таков был всегда гонимый еврейский народ, за грехи рассеянный Богом по всем странам мира. Теперь мы поменялись с евреями ролями. Мы — как еврей, т. е. скитаемся по всем Европам и Америкам, а евреи — в Московском Кремле... Правда, православие при этом несколько в загоне, но зато «самодержавие» в полном расцвете... Что же касается русской народности, то она раздвоилась...

Русских во всех «заграницах» имеется два миллиона. Это — целый народ».

Он еще надеялся, что когда Ленин и Троцкий доведут Россию до ручки, будут призваны варяги из белых. Впрочем, под белыми он подразумевал далеко не всех, не принимавших нового строя. У него была своя мерка, очень похожая на современный тезис о приоритете общечеловеческих ценностей над классовыми.

Но это уже из неосуществленной книги «1921», а кочуя по мансардам, Шульгин торопился закончить «1920», потому что ему нужны были деньги для экспедиции в Крым — выручать сына Лялю и арестованного крымской Чека брата Дмитрия. Очерк «1920» появился впервые в журнале «Русская мысль», издаваемом П. В. Струве в Софии, в мае—июне 1921 года, а печатание его закончилось в октябре — декабре. В мае — июне следующего года там же печатались первые главы книги «Дни». Именно эти книги прославили Шульгина как литератора.

«1920» писалась в тяжелейших скитаниях, в постоянной тревоге за судьбу родных, в перерывах между заседаниями «Русского совета», куда его зачислил Врангель, разведка которого доносила, что после вторжения в Крым красных только там погибло от голода до ста тысяч человек. Появилась «тройка» — Бела Кун, Землячка (Залкинд) и Пятаков, — расправившаяся с оставшимися офицерами и их родственниками с невероятной жестокостью. Им предложили зарегистрироваться, обещав использовать их военный опыт в борьбе с поляками и на службе в

Красной Армии, а потом по спискам было уничтожено более 50 тысяч человек. Очень многим, живым еще, привязывали камни к ногам, бросали в море, и они стояли под водой мертвым лесом, покачиваемые течениями.

Шульгин болел, страшно похудел, но продолжал писать, общался с десятками людей ежедневно, вел громадную переписку со столпами эмиграции, а в плоне выехал в Софию, получил гонорар в «Русской мысли» — 25 тысяч левов (300 долларов) и на эти деньги купил шхуну. С десятком приверженцев он совершил плавание к Крыму, высадив племянника Владимира Лазаревского, который должен был узнать о судьбе пропавшего сына Шульгина — Ляли и разыскать его жену Екатерину Григорьевну, и сам высаживался, искал брата Дмитрия, попал в засаду, еще ушел в Варну, потеряв пятерых. Тут он узнал, что брат расстрелян большевиками, и сказал:

— За брата расстреляли! Ленин и Керенский были в одной гимназии в Симбирске. Отец Керенского был директором... Старшего брата Левина, студента, повесили за покушение на императора. А младший, Владимир, этот самый, кончал гимназию и должен был получить золотую медаль... Керенский-отец был смущен, можно ли дать медаль брату повешенного за покушение на царя... Телеграфировал об этом министру в Петербург. Царский министр ответил: «Брат не может отвечать за брата. Мы не в средних веках. Медаль — дать». Но, очевидно, нам не нравилось, что у нас не средние века... Мы сто лет делали революцию... Теперь добились... царит средневековье. Теперь семьи вырезаются до пня... И брат отвечает за брата...

В истории с медалью Шульгин не совсем точен. Не совсем точен был он и в отношении своего брата. Тот скончался от разрыва сердца, когда его вели в горы — на расстрел.

Будив скончался в Париже в 1953 году, заслужив мировую славу, Нобелевскую премию, но так и не стижав средств для пристойного существования. Он тосковал по родине, и его любовь к ней выражалась в пронзительно точных, подчиняющих своему влиянию целые поколения наших писателей, совершенных по своей стилистике и языку повестях, рассказах, воспоминаниях, в которых он так и не примирился с большевистской диктатурой.

Личная судьба Шульгина гораздо богаче событиями. Он не дожидаясь двух лет до ста, входил в тот или иной контакт с верховными правителями нашего государства, за исключением Александра II, потому что тогда был очень мал, и Брежнев, потому что тот был совершенно невежествен и, кроме собственного благополучия, не интересовался ничем.

Он был выдающейся личностью, исполненной силы и обаяния, о чем я могу свидетельствовать, хотя общался и переписывался с ним, когда он находился уже в очень и очень преклонном возрасте. Прирожденный журналист, он усиленно развивал в себе и писательскую жилку, отчего его книги не только не утратили своего значения в наши дни, но будут служить материалом для историков и вдохновением для других писателей до тех пор, пока жива память о прошлом.

Шульгин уже сейчас хрестомативен.

Судите сами. В наше время из его книг в СССР опубликованы

и переизданы «Письма к русским эмигрантам», «Годы», «Дни», «1920», «Три столицы», в которых Шульгин рассказывает о наиболее впечатляющих событиях своей многотрудной жизни мастерски, а главное — умно. Отрывки из них рассыпаны по хрестоматиям и сборникам. Редкий исследователь новейшего времени не цитирует его. И всякий раз изящная и содержательная цитата из Шульгина глядится яркой заплатой на сером рубище научной сухоматии, вздергивая читательский интерес.

В 1922 году в Берлине встретился наконец Василий Витальевич с женой Екатериной Григорьевной: ее с большими приключениями вывез из советской России Владимир Лазаревский, который, однако, не нашел их сына Лялю. Через год Шульгин, поверив в Париже ясновидице, что сын его находится в винницкой психиатрической лечебнице, вступил в контакт с подпольной организацией «Трест», о которой и сейчас трудно сказать, была ли это чекистская провокация или нет. С ее помощью Шульгин тайно посетил Россию и описал свои впечатления в книге «Три столицы». Сына он не видел — тот скончался незадолго до его приезда действительно в винницкой больнице. Однако разразившаяся в эмигрантских кругах кампания по разоблачению «Треста» подорвала его репутацию, и он отдался целиком литературе, поселившись в Югославии, где был арестован в 1944 году чекистами, препровожден в Москву и осужден на 25 лет тюремного заключения. В 1956 году его освободили из Владимирской тюрьмы и поместили в пивалитный дом. Однако вскоре он вернулся к литературной деятельности, чем привлек внимание советского руководства, обеспечившего его пенсией и квартирой. Несмотря на свой более чем почтенный возраст, Шульгин писал к русским эмигрантам, проповедуя миротворчество, был одним из создателей впечатляющего фильма «Перед судом истории», работал над мемуарами, поэмами, начал книгу о мистических случаях, имевших место в его жизни... Был гостем XXII съезда КПСС, но отказался от встречи с Н. С. Хрущевым.

До самой своей смерти во Владивостоке в 1976 году Шульгин не прерывал обширной переписки, правил и дополнял воспоминания.

* * *

В марте 1917 года, когда Шульгин при виде уличной толпы, ворвавшейся в Таврический дворец, вступлению мечтал: «Пулеметов!», в Самаре 18-летний Николай Кочуров вступил в партию большевиков. Ему, сыну волжского крючвика Ивана Кочурова, окончившему на медные копейки четырехклассное городское училище, работавшему на заводе мальчиком на побегушках, ломовым извозчиком, самой судьбой предназначено было стать классовым врагом тех, кто писал о гибели тысячелетней России либо с ненавистью, либо с чувством примирения с неизбежным злом. Но вышло так, что он стал одним из основоположников русской советской литературы под псевдонимом Артем Веселый и в своем недописанном романе «Россия, кровью умытая», в повестях и рассказах с беспощадной правдивостью изобразил весь ужас гражданской междоусобицы, вызванной то ли непоколебимым желанием осчастливить человечество любой ценой с помощью заемных, иностранных теорий, то ли продолжающейся

и в наши дни попыткой уничтожить стражу совсем, потому что она была и остается последним препятствием на пути к мировому господству интернационала сильных и богатых, расчищающему путь «избранному народу».

Юноша Кочкуров верил в теории и стал их пропагандистом. Он делал это в местных газете и театре. Он сражался с восставшими чехами на Южном фронте, работал во фронтовых газетах, был председателем укома партии и чекистом, оказывался то в Тульской губернии, то на Северном Кавказе, разъезжая в агитационном поезде «Красный казак». Весной 1920 года Деникин был уже разгромлен, дымилась сожженные города, деревни, станции, плакали осиротевшие матери и жены, но еще кричали на митингах ораторы, не давая остыть ненависти к поверженному классовому врагу.

«В одно, как говорится, прекрасное утро, — писал потом Артем Веселый, — на перегоне от Тихорецкой к Екатеринодару я поднялся чуть свет, выглянул из окна купе и ахнул. И сердце во мне закричало петухом! На фоне разгорающейся зари, в тучах багровоющей пыли двигалось войско казачье — донцы и кубанцы — тысяч десять. (Как известно, на Черноморском побережье, между Туапсе и Сочи, было захвачено больше сорока тысяч казаков; обезоруженные, они были распущены по домам и на конях — за сотни верст — походным порядком двинулись к своим куреням.) Считанные секунды — и поезд пролетел, но образ грандиозной книги о гражданской войне во весь рост встал в моем сознании».

Теперь мы знаем судьбу этих казаков не только по шолоховскому «Тихому Дону». Изуверство истребительного «расказачивания» по приказам из Москвы общеизвестно. Да и в «России, кровью умытой» встречается намек на зависть исполнителей комиссарских приговоров — рязанских мужиков, живущих в тесноте, духоте, — к казачьей сытости и приволью. На злобой зависти держится вся классовая и национальная рознь. И еще на высокомерии невежества. Кочкуров встречался в Самаре с Гашеком, и тот сказал ему, что в общество справедливости можно войти, «только поднимаясь по ступеням многовековой культуры», на что получил резкий ответ: «Мы ваших университетов не кончали, но и у нас мозги ве набекрень». Потом он считал свои слова «порывыми».

К роману будущий Артем Веселый подбирался исподволь. Тогда же он в поездной типографии отпечатал и разослал обращение-вопросник к участникам гражданской войны, получил пуды писем, потом изучил горы материалов, рылся в архивах, читал книги...

Прошло четыре года (ученье в Литературно-художественном институте и Московском университете, служба на Черноморском флоте, писание агиток вроде пьесы «Мы», повести «Реки огненные», рассказов, работа над историческим романом «Гуляй, Волга»), прежде чем пришла пора «грандиозной книги».

Словно из блоковских «Двенадцати» вышли герои-матросики «Рек огненных» Ванька-Граммфон и Мишка-Крокодил, в обхлестанных клепах, наглые, нахрапистые, «насчет эксов, шамовки и какой ни на есть спекуляции первые хвататы». В мирное время они уже не нужны комиссарам, их вышвыривают с корабля, и остается только мечтать о былой воле. «Вагрустнулось о семнадца-

том-восемнадцатом годочке... грабнул раза и отыгрался, месяц живи, в карман не заглядывай!» Даже у Агашки, которую матросы волокут в кусты, «личико пухлое», как у блоковской «толсто-морднейкой» Катьки.

Блок наблюдал, догадывался, стилизовал. Артем Веселый же был плоть от плоти, кровь от крови получивших дозволение грабить награбленное, что в теории выглядело экспроприацией экспроприруемого, то есть обретенного трудом и талантами, и его художественное свидетельство звучало из первых уст. «Старым социалистам» вроде О. Д. Каменевой было чего бояться, а проще скрывать, поскольку корни их опоры на уголовщину уходили в дореволюционные времена, в бандитские формирования типа «лесных братьев», возглавлявшихся Я. М. Свердловым, появление которого в роли второго лица в большевистском государстве теперь уже не вызывает удивления — его тайной ариппи убийц коллеги просто опасались.

Блок призывал слушать музыку революции. И эту музыку услышал и записал Артем Веселый в «России, кровью умытой». Недаром он и сам выражался музыкальными терминами, говорил о «музыкальном ладе романа», а главу «Смертию смерлся поправ» сопроводил в рукописи примечанием: «Вся глава идет на басовитых нотах и — стремительна до предела». Современные литературоведы любят говорить о «художественном полифонизме» романа.

Каждая глава как бы выпевалась Артемом Веселым. И при чтении слышен рокот, многоголосый гул тысяч народных толп. То, что нам известно под названием «России, кровью умытая», носит подзаголовок «фрагмент романа», который писался с 1924 по 1934 год. Главы появились в печати постепенно, а также «этюды», законченные небольшие рассказы, «икий продух или пауза музыкальная», по словам автора, готовые войти органично в роман, окончательный план которого составил лишь в 1933 году. Замысел был действительно грандиозный, охватывающий едва ли не все события с 1916 по 1920 год. Из задуманных 24 глав написано было 20, а две еще намечены в этюдах.

Многие склонны символ поворота в народной жизни видеть в эпизоде с мирским быком Анархистом, который ринулся на поезд лоб в лоб и сокрушен был, размолот чугуном, а поезд пошел дальше, не останавливаясь, потому что на подъеме тормозить нельзя. Это мощнее есенинского символа — жеребенка, пытающегося обскатить поезд.

Роман написан на века, и каждое время будет видеть в его эпизодах свое. Сейчас, живя в нестабильности, в обстановке кровавых вспышек национальной розни и угрозы гражданской войны, мы обращаем внимание на иное в романе. Хотя бы на этюд «Отваги зарево», в котором председатель хutorского ревкома Егор Ковалев судит ветхую старушку графиню, отказавшуюся, чтобы ей завязали глаза перед расстрелом, и сказавшую:

— Кого же вы будете грабить, когда разорите всех нас?.. Да вы, батенька, броситесь друг другу глотку грызть, и вашей звериной кровью захлебнется Россия.

В этюде много жестокости и крови, предрекающих и судьбу самого Артема Веселого, который оправдывал революционную безжалостность. В 1936 году в «Литературной газете» он будет настаивать на репрессиях: «И в нашей партийной писатель-

ской организации с большевистской бдительностью обстояло далеко не благополучно... при обмене билетов выявлен ряд двурушников, примиренцев, врагов партии».

А через год арестуют и его, обвинив в покушении на Сталина. Старые большевики, сидевшие с ним в одной камере, рассказывают, что их общий совсем молодой следователь говаривал: «За что боролись, на то и напоролись!» В Лефортовской тюрьме Артема Веселого каждую ночь вводили на допрос, а под утро приносили, обесилевшего от пыток. Официальная дата смерти писателя — 2 декабря 1939 года, и обстоятельства его гибели еще требуют уточнения.

«Россия, кровью умытая» — это в конечном счете роман о беспощадном русском бунте, и тут уместно вспомнить Пушкина, говорившего о тех, кто затевает у нас бунты, что им чужая жизнь — копейка и своя душка — полушка. Все верно изображено у Артема Веселого — и обрыдшая война до победы, и страдания солдат, оправдывавшие радость при вести о низвержении царя, и повальный уход с фронта, и попытки напомнить солдатам о чести русского орудия. «Хрен с ней, и с честью-то, домой, домой и домой!» И большевистская агитация, улавливающая настроения и потрафляющая желанию все отнять и разделить. Да только не будет этого по достижении цели — «чем хуже, тем лучше». Ни царское правительство, ни Временное не додумались, как предотвращать уход с полей боев. Это Троцкий придумает заградительные отряды с пулеметами позади линии фронта и дедимацию — расстрел каждого десятого за отступление.

Сейчас это все уже навязало в зубах, и ловится в романе насущное — «Грузия от России откололась», «не признают ни царских, ни барских, да и самого Христа уже за горло берут...», «под национальные знамена грузины собирают свою армию, армяне — свою, татары — свою», бьют друг друга, режут, жгут во имя поросших травой забвения старых обид. Кабардинцам нужна пушка — «бушка». «Ингуш — собака, чечен — собака, адыге — собака, натухай — собака...» А у русских солдат программа до жути ясная: «Товарищ Ленин сказал: грабь награбленное, загоняй в могилу акул буржуазного класса».

Хотел этого или не хотел Артем Веселый, но он очень отчетливо показал, как с каждым днем революции и гражданской войны жизнь человеческая становилась все дешевле, как убить человека стало, что курчонку голову отрубить. «Ну как, сынок, русскому русского бить не страшно?» — спрашивают в эшелоне солдата. «Сперва оно действительно неловко... а потом, ежели распалится сердце, нет, вишто». Это в начале гражданской, а потом и сердцу не надо распалиться...

И офицеры не лучше. Осознают: «Плохой у нас был император или хороший — история рассудит, но ни один сукин сын не поднял руку в его защиту, ровно все они родились революционерами». Они сами ставили партийные и социалистические интересы выше интересов государственных и национальных. Героизм корниловского Ледяного похода — вынужденный. Зарежут родимые! Поезд их уже ушел, а они на ледном ветру рассуждают о судьбах революции и социализма. Это верно подметил Артем Веселый, в отличие от нескольких поколений советских историков видевший, что таких монархистов, как Шульгин, у белых было мало, хотя классовую позицию писателя можно проследить даже в

одной отдельно взятой фразе: «Счастливою рукою посланный снаряд сразил Корнилова».

Артем Веселый любовно живописал одного из двух своих главных героев — Ивана Черноярова, лихого рубаку, страстного, неукротимого, готового «перепахать Россию наово». За такими шли, таких любила революционная вольница, отрицавшая «царский корень», но верившая в «батьку Ленина», инстинктивно монархическая по сути. Русский не может шагу ступить без веры в царя, как бы тот ни называл себя. Это свойство национального характера — бесконечно перечить друг другу и сходиться в признании носителя верховной власти.

Иван Чернояров обречен. Если бы его не повесили белые, расстреляли бы свои. Не во время войны, так после, когда потребовалось единообразные мышления.

Другой герой — Максим Кужель — почти не впден в крестьянской массе, поверившей обещаниям большевиков дать землю. В этом слиянии — удача писателя. И, видимо, Кужеля постигла судьба крестьянства русского...

Но есть у Артема Веселого персонаж, имеющий будущее. Это Филька Великанов из этюда «Филькина карьера», за унылый рост и редкий голосок прозванный Японцем. Озорник, пьяница. Отца отравил мышьяком. При большевиках начал свою карьеру с разъездного пистратора райисполкома, написал идиотский «Доклад в крадцах», а потом «умыриул в мплицию».

Однако в первоначальной публикации было другое: «В партию прописался, умырнул Филька в Чеку».

Остался наброски Артема Веселого к продолжению этюда:

«В деревнях бушевали чекисты Упит, Пегасьяниц и Филька Японец: о их подвигах далеко бежала славушка недобрая.

...Из Фирсановки попа увезли. Ни крестить, ни отпевать некому — кругом на сто верст татарва...

...Неплательщиков налога купали в проруби и босых по часу выдерживали в снегу.

...Реквизиции в конфискациях направо-налево, расписки плетью на спинах».

Троицу вывели на чистую воду. Но Филька был нужен, и его назначили «комендантом могил». Он с конвойцами сопровождал приговоренных и без промаха стрелял в затылки.

Артем Веселый разделался с ним, заставив попасться на мелкой краже. Ну а если бы не попался? Сделал бы небольшую карьеру, под старость был бы на привилегированном положении «старого большевика». Верно, сын такого Фильки и допрашивал писателя в Лефортовской тюрьме, приговаривая «За что боролись, на то и напоролись!»

* * *

Что впереди? Дай-то Бог, чтобы наша история не развивалась по уже знакомому сценарию: торжество демократии, распад страны, левый переворот, провокационный выстрел очередной Капкан в очередного Ленина, кровавый террор, гражданская война, установление диктатуры проходимцев на десятилетия, унылые остатки русского населения согласно схеме, разработанной на неведомом совете нечестивых... Дай-то Бог, чтобы не было ничих русских писателей, помирающих на паперти, либо комму-

ны, либо фондовой биржи, либо бастиона партийной номенклатуры...

Однако времена меняются. В русском народе, кажется, просматривается стойкое отвращение к междоусобному кровопролитию ради «революционных преобразований». Разумеется, шпидеры найдут своих шариковых и филек на роли чекистов или носителей мандатов комиссий по расследованию антиконституционной деятельности. Но их ничтожное число, а среди тех, кто посещал демократические митинги и готов был в августе защитить «Белый дом», немало любящих Россию и уже разобравшихся, кто есть кто. Русские люди стали умнее, несмотря на тотальное оболванивание человеческой массы телевидением и многотиражной прессой, захваченной все теми же коммунистами, потопками пассажирами «пломбированных вагонов»: ленинских, троцкистских, дзержинских, ладисов, чуть прикрывших свои зверские лица демократическими личинами.

Хотя повсюду само слово «русский», хотя открытое заявление о своей принадлежности к великому народу непременно отождествляется с «шовинизмом», «фашизмом» и прочими ярлыками, позаимствованными из марксистского словаря, мы гордимся своей рускостью. Язык наш покалечен, но не умер, культура наша забита, но не вытравлена, дух наш национальный угнетен, но сопротивляется.

Нет, не все еще потеряно. Пусть малы островки свободного русского слова, но его жадно присматривающееся и прислушивающееся большинство. Оно по-новому осмысляет сказанное некогда Блоком, Буниным, Шувальгим, Артемом Веселым, видит в их судьбах, слышит в их речах предостережение от смуты и взаимострелбения по чужой указке.

Это вселяет великую надежду на преодоление розни, за возрождение святынь и народной нравственности, на быдую соборность вашу и возвращение русского народа на его естественный и здравомысленный путь, как это бывало в нашей истории уже не раз.

Зло победить не может.

М. Г.: Контактные телефоны редакции для деловых людей и деловых предложений
285-88-86; 285-88-59
Звонить с 12 до 17 час.

Волки и овцы, объединяйтесь!

12 января в Москве состоялась конференция московской региональной организации Национально-Республиканской партии России. Председатель партии Лысенко Н. Н., поздравив присутствующих с официальной регистрацией партии, сообщил, что созданная и действующая в С.-Петербурге НРПР открывает этой инициативой свое московское отделение.

Программное заявление носило характер призывов к единению всех национально-патриотических сил, к возрождению русского национального достоинства. Основной упор сделан на приоритете интересов русского народа — станового хребта Российского государства. Национальная идея должна стать ведущей идеей государственной политики.

Доклад практически не затрагивал экономических аспектов политики партии. По вопросам приватизации и развития частной собственности, сельскохозяйственной политики позиция НРПР оказалась весьма расплывчатой.

Было провозглашено, что НРПР ставит своей целью защиту интересов рабочего класса, трудящихся слоев общества. Этому отвечает и политика привлечения в НРПР бывших коммунистов, хотя в то же самое время Лысенко заявил, что выразителем интересов НРПР он видит зарождающийся класс предпринимателей. Интересно, какой идейный юрм будет предложен одновременно и волиам, и овцам, если и те, и другие окажутся в одном загоне и у одной кормушки? Тем не менее конференция посчитала, что она успешно завершила свою работу на данном этапе.

Катунская ГЭС — гибель Алтая

Очередную инициативу, посвященную проекту строительства Катунской ГЭС, провел в Москве Центр Независимых Экономических Программ Социально-Экономического Союза при поддержке Географического факультета МГУ. В работе конференции также приняли участие американские эксперты. Касаясь аналогичных проблем в США, гости из-за океана констатировали тот факт, что подобные проекты никогда не способствовали нормальной экологической обстановке и улучшению условий жизни иоренного населения.

Сама идея проекта, рожденная в недрах застоя, когда решалась участь северных рек и разрабатывались планы переброски электроэнергии из Сибири в центральную часть страны, продолжает существовать и воплощаться в жизнь по сей день. В ходе обсуждения были приведены неопровержимые доказательства несостоятельности рассматриваемого проекта как с экономической точки зрения, так и с экологической.

Приводя эти аргументы против строительства, нужно сказать, что у местного населения нет необходимости в ГЭС такой мощности: на Горном Алтае нет иррупных потребителей электроэнергии. К тому же ее существование не решит проблему электрификации края, что связано с природными условиями. Экономические подсчеты показывают, что использование малых электростанций, работающих на угле и природном газе, способных самокупиться в 1—2 года, гораздо выгоднее, чем затянутае на 15 лет многомиллиардное строительство. Нецелесообразно возведение очередного гиганта и для подключения планируемых мощностей в общую энергосистему страны: давно существующие Красноярская и Саяно-Шушенская ГЭС работают не в полную силу, постоянно производя внеплановые сбросы электроэнергии.

Плотина высотой 185 метров создаст водохранилище объемом 7,5 куб. км и затопит территорию в 8 тыс. гектаров. При этом уничтожится уникальная природа, достойная стать национальным парком России. Конечно, по окончании строительства иракю достанутся